

А. Р. КУТЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПОРТРЕТЫ
ЛИСТЬЯ С ДЕРЕВА
(ВОСПОМИНАНИЯ)



ЛАНЬ®

ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ™



MUSIC
PLANET

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •

• МОСКВА •

• КРАСНОДАР •

Кугель А.Р.

- К 88 Литературные воспоминания. Театральные портреты. Листья с дерева (Воспоминания). – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 512 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-3121-2 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-91938-555-4 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Книга «Литературные воспоминания» Александра Рафаиловича Кугеля (1864-1928), советского театрального критика, представляет собой жизнеописание автора, в котором рассказывается про первый период его жизни и творчества. В книге собраны статьи, которые в разное время выходили в журнале «Былое». "Театральные портреты" включает в себя сборник историй о великих актерах XIX – начала XX вв. Кугель писал о своих современниках, о тех актерах, которые отличались творческой индивидуальностью. Среди них П.С. Мочалов, В.Ф. Комиссаржевская, Сара Бернхардт, К.А. Варламов, А. Вяльцева, М.В. Дальский и др.

Книга адресована студентам театральных направлений, педагогам, театроведам и просто интересующимся театром.

ББК 85.334.3(2)

Kugel A.R.

- К 88 Literary memoirs. Theater portraits. Leaves from a tree (Recollections). – Saint-Petersburg: Publishing house "Lan"; Publishing house "THE PLANET OF MUSIC", 2018. – 512 pages. – (University textbooks. Books on specialized subjects).

The book "Literary Memoirs" by Alexander Rafailovich Kugel (1864-1928), a Soviet theater critic, represents the author's biography, which tells about the first period of his life and work. The book is a collection of articles, which at different times were published in "The Past" magazine. "Theater Portraits" includes a collection of stories about the great actors of the XIX - early XX centuries. Kugel wrote about his contemporaries, about actors marked with original creative individuality. Among them are P.S. Mochalov, V.F. Komissarzhevskaya, Sarah Bernhardt, K.A. Varlamov, A. Vyaltseva, M.V. Dalsky and others.

The book is addressed to students of theatrical branches, teachers, theater experts and all interested in the theater.

В оформлении книги использованы работы художника Е. Белухи

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
2018

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2018

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

ОТ АВТОРА

Первые страницы своих «Литературных воспоминаний» я стал набрасывать в 1918–19 гг. — во время полного и совершенного литературного своего бездействия. У меня не было вначале определенного плана — писалось от вынужденного безделья и скуки, и только по мере того, как книга писалась, выяснилось, что жизнь моя, отражающаяся в литературных воспоминаниях, отчетливо распадается на три периода. Границею, заключающею первый, юный период, является предпринятое мною в 1896 г. издание журнала «Театр и Искусство». Затем жизнь моя и работа вступают в определенные берега, и это тянется около 20 лет. Вторым периодом и могла бы закончиться моя литературная биография. Но сначала мировая война, потом революция резко выбивают меня из колеи, и уже в пожилом возрасте, на склоне дней, начинается третий период моей жизни, быть может, самый любопытный, разнообразный и богатый впечатлениями, внезапностями, неожиданностями и даже творчеством.

Таким образом, раз «Литературные воспоминания», не без благосклонности встреченные читателями, имеют шансы стать в некотором роде моим жизнеописанием; они должны состоять из трех частей, и предлагаемая книга есть только первая часть задуманного. Удастся ли мне написать другие две части — не знаю, хотя мне очень хочется довести этот труд до конца. Но из сказанного явствует, почему о многих людях и явлениях, с которыми я был хорошо знаком и о которых мог бы многое сказать, — я говорю в этой книге иногда лишь вскользь. Их место дальше, там, где они теснее сплетаются с моей жизнью.

За исключением последних глав, появляющихся в печати впервые, остальные были напечатаны в журнале «Былое», и перепечатываются в настоящем отдельном издании почти без всяких изменений.

*Автор.
Сентябрь 1923 г.*

I. ГИМНАЗИЯ И УНИВЕРСИТЕТ

Когда я стал печататься — это, конечно, установить нетрудно. Но очень трудно точно сказать, когда я начал писать. Сколько я себя помню, я марал бумагу своими «сочинениями». Я так думаю, что сочинять стал со второго класса гимназии, а может быть, и раньше. Всякая прочитанная мною и оставившая сильное впечатление книга заставляла меня немедленно приниматься за сочинительство. Писал я тайком от родителей, и почему-то больше всего стыдился этого. Не потому, что эти упражнения могли бы встретить неодобрение — скорее наоборот. Особенно со стороны матери, в черновых тетрадках которой я, любопытствуя, нашел не мало так называемой «литературы». Но эти писания казались мне чем-то таким интимным, что обнаружить их было бы для меня все равно, что раздеться при посторонних и ходить нагишом. Поэтому писания свои я прятал под тетрадками и книгами. Запоров и замков в шкафчиках и столах не было, и потому, я уверен, что при инспекторских осмотрах мама наверняка находила мои писания и прочитывала их. Но, будучи женщиной чуткой души и понимая стыдливость мою, она ничем знакомства с моими писаниями не обнаруживала. Только иногда, по теплоту и проникновенному взгляду ее чудесных любящих глаз, я мог догадаться, что она знает какую-то мою тайну. Но я молчал. Молчала и она.

О чем я писал? Обо всем. Помню, что писал исторический роман в подражание «Войне и миру». Писал на листках маленькой тетрадки в 1/6 долю и начинал почти так же, как у Толстого, с разговоров о войне... Тогда это не казалось странным — такое точное воспроизведение. «Творчество» почти совпадало с перепискою. Помню, однажды я прочитал в книжке «Русские Вести» какую-то банальную повестушку, которая произвела на меня сильное впечатление, главным образом, тем, что герой и героиня приходили к любовному объяснению под грохот бури, грома и шум дождя. Мне страх как это понравилось, т. е., вероятно, что это так

декоративно. Эффект казался мне невообразимо прекрасным, и я немедленно стал писать такую же повесть, т. е. своими словами изобразил шум дождя, блеск молний и грохот грома, и влюбленных героев, с которых струится вода.

Когда я стал постарше и обратился к другим книжкам, зуд подражательного сочинительства попрежнему не покидал меня. Прочитал «Записки еврея» Богрова — книгу, небезынтересную с бытовой стороны, но довольно слабую в отношении литературного вкуса, и стал писать нечто вроде этих «Записок». Прочел статью Белинского о «Горе от ума», и немедленно написал критическую статью о комедии Грибоедова, где повторил по-детски все мысли Белинского.

Еще постарше я стал писать сатиры и памфлеты из жизни родного городка. Тогда я уже осмеливался их читать среди кружка товарищей. Находили, что зло и забавно. Было это, вероятно, очень слабо. Я думаю, что не было, главное, ни капли вкуса в этих писаниях. Моя мечта, моя затаенная мысль, моя тоска были в том, что я должен быть писателем. Сколько я себя помню, — мне рисовались две карьеры: военачальника и стратега, причем я располагал вокруг Мозыря батареи и эскадроны (огромное впечатление произвел на меня том Михайловского-Данилевского «Отечественная война», из которого я, кстати сказать, узнал, что в нашем городе стоял корпус Эртеля), и, во-вторых, писателя. Во исполнение первой моей миссии, я, случалось, целыми часами просиживал над кучею стальных перьев, изображавших неприятельские рати, и старался сбить их с позиций искусными фланговыми ударами. Во исполнение второй, я марал бумагу. Почему-то большое впечатление произвел на меня роман Смирновой в «Отечественных Записках» — «Соль Земли». Героя звали Черник. Я засыпал и просыпался с именем Черника, и задумал немедленно такой же роман. Любопытно, что, например, «Губ. Очерки» Щедрина я читал с удовольствием, но на подражание он меня не вызывал.

Классные сочинения я писал довольно охотно, но увлекался ими редко. Тискал я в них без разбору, что подвернется. В 5-м классе я, кажется, ввернул что-то из Щапова, да так ловко, что учитель наш, Александр Николаевич Булгак, не догадался, а только нашел, что я обнаруживаю большие

способности и даже с некоторым недоумением принес тетрадку в класс. «Будешь сочинителем», — сказал он. В 6-м классе я был оставлен на второй год потому, что в экзаменационное сочинение «О пользе книгопечатания» ввернул что-то из статьи Писарева о папе Иннокентии. Источник моих вдохновенных мыслей не был открыт, но «дурной дух» был ясен для нашего директора, — С. И. Фелицына. Кстати, о Писареве. Он был запретный плод, и я глотал его. Казался он мне очаровательным. И странно: не столько мысли Писарева казались мне очаровательными, не столько мирозерцание этого критика пленяло меня — мне даже кажется, что смутно я протестовал против многого и, например, Пушкина я продолжал любить нежнейшею любовью, — а очарователен был для меня задор Писарева, пленительна была смелость его, бойкость. Не то было важно, что он ниспровергает, а то, как он ниспровергает: шапка набекрень, поплеывает сквозь зубы и носкам сапога пинает направо и налево. Вот это писатель! Вот это идеал! Вот это литература! Увы, у меня были, как видно, задатки плохого литературного вкуса и неудержимое влечение к фельетонизму. Каюсь. И если я впоследствии — очень впоследствии — от этого в некоторой мере исправился, то это обошлось не без труда и не без ломки моей натуры. В 7-м классе — эх, меня бросало! — я стал читать «Политическую Экономия». Милля с примечаниями Чернышевского и усердно писал «комментарии» — воображаю!

Так шли мои школьные годы, Я читал все, и беспорядочно. Я писал все, и также беспорядочно. Даже пробовал стихотворство. Но это выходило окончательно бездарно. И действительно, версификация мне никак не давалась, — и поднесь я не написал пары приличных стихов. Органическое отсутствие стихотворческого ритма, надо полагать.

«Писательские» мои способности были известны, разумеется, всей гимназии, и я очень рано стал их эксплуатировать, составляя «заданные сочинения» за четверку табаку или связку баранок и пару пряников. Случалось, что я ухитрялся одновременно писать 5–6 сочинений на одну и ту же тему, не повторяясь и по возможности разнообразя их. В таком случае я бывал снисходителен, и мог довольствоваться

парой баранок или тетрадкой папиросной бумаги. Платили балбесы из купеческих еврейских семейств, лет на 5–6 старше меня. Они-то и прививали мне корысть. Но так как в то же время они были и надувалы, и так как ни выкурить больше табаку, ни съесть больше баранок, чем положено, невозможно, то эта отрасль натуральных заработков не получила развития.

К концу моего пребывания в гимназии в своих классных сочинениях я уже не прибегал к наивному плагиату. Учитель, Фил. Фил. Адвокатов (черниг. гимназии) похваливал, но находил — и совершенно справедливо — в писаниях моих фельетонизм. Однако укоры эти я не принимал серьезно, — писаревское неглиже с отвагой продолжало казаться мне идеалом возможного для писателя совершенства, — но я просто стал относиться осторожнее и писать сдержаннее. В результате сочинение на экзамене зрелости «Развитие направлений в русской литературе в первой половине XIX столетия» было признано всем педагогическим синклитом «блестящим» и, как образец, послано «в округ». Что я там писал — не помню.

И вот, я отправился в Петербург. Карьера писателя продолжала мне кружить голову. Иногда, правда, проскальзывала и другая соблазнительная мечта — адвокатура. Я защищаю невинно обвиненного, и все дамы, а особенно одна, под черной вуалью, восхищены мною и осыпают цветами. Но эта мечта не задерживалась. Я должен существовать пером. Мне было лет 6, у нас были гости и пили чай, и у меня в памяти остались слова отца, который, положив руку мне на голову, сказал: «Желал бы я, чтобы он написал столько книг, сколько он побил стекло». Слова эти оставили неизгладимый след. Книг я много в свет не выдал, но написал всякой всячины, точно, много.

Ехал я в Петербург в битком набитом вагоне, в сшитом домашним портным, невероятном попугайско-сером костюме и рыженьком пальтишке. Было мне неполных 18 лет, и жизнь казалась невообразимо прекрасной. Уже за Режицей я познакомился с красивым брюнетом, с прелестной черной бородой, — грузином-скрипачем Караевым, который предложил мне поселиться у его хозяйки. Он снимал

комнату в д. № 37 по Б. Подъяческой у каких-то евреев, и говорил, что там найдется комнатка и для меня. Меня встретила толстая, очень толстая еврейка, с мясистым, добродушным лицом, и показала мне свободную комнату. Это была маленькая комнатная щель, у входной двери. Стояла узкая кровать, и напротив маленький столик, и это создавало такую тесноту, что пробираться между кроватью и столиком можно было только боком. А когда я ложился на кровать, то мог свободно положить ноги на подоконник. Но был светлый солнечный августовский день, стояла комнатка 6 р. в месяц, и мне все это, включая толстую хозяйку, показалось превосходным. Караев в соседней комнате уже играл на скрипке, и на душе у меня была музыка. Петербург того времени был, конечно, не тот колоссальный Петербург с 2,5-миллионным населением, какой мы знали пред войной и во время войны. В нем в ту пору (1882 г.) числилось только 850.000 жителей. Но он подавлял меня, и когда я попадал в свою комнатку, то терял сразу все расположение духа и легкую свою беззаботность. Мне было первое время страшно — страшно, что вот я, человек, микрокосм, а пропадаю, как песчинка, в этом океане, который меня не знает, которого я не внаю, и в котором совсем нет души. Вот именно это противоположение давило меня. Ни в Мозыре, ни в Чернигове, ни даже в Киеве, где я бывал раза два, — этого противоположения бездушности города и моей маленькой одушевленной личности я не испытывал. Но в Петербурге я долгое время не мог отделаться от этого ужасного впечатления одиночества на улице — пока лица, дома, магазины не примелькались, и не стали как будто новыми знакомыми.

Университет, товарищи, новые и старые, которых я встретил (среди них, земляк мой, одноклассник, сын священника Мозырского уезда, Митрофан Корженевский), лекции, профессора, сходки — все это первое время совершенно заглушило писательский зуд. Я перестал быть писателем и бумагомаракою, и стал студентом. Конечно, достал плед и толстую палку, и чувствовал себя необыкновенно гордо, когда Вознесенские феи говорили на улице: «студент, одолжите папироску!» Факультет в то время был, действительно, блестящий, хотя старые ст-денты

говорили: «Ну какой же теперь это факультет? Вот два, или три, или четыре года назад был факультет так факультет!» Однако, читали Сергеевич, Градовский, Янсон, Коркунов. Политическую экономию — само собою, самый важный для передового студента предмет — читал толстый Вреден, про которого острили, что он не столько вреден, сколько совершенно бесполезен. Это был веселый бонвиван, и если нужно было создать живое олицетворение буржуазного экономизма, спокойного, всем довольного и твердо убежденного в нескончаемости *juste milieu*, то конечно, это был Вреден. Его книга, курс его, была написана ужасным языком. Фразы, вроде «лучи света, разбиваясь о бытовую ограду современности, освещают политико-экономические задачи», и т. п. — пестрели на каждой странице. Частенько даже нельзя было понять, что он хочет сказать. Но лектор Вреден был занятный. Он рассказывал анекдоты об акционерных обществах, о великих финансистах, о том, что директор учетного банка, Зак, играет на скрипке, и о том, что газеты надо читать не с первой, а с последней страницы, где объявления, так как там настоящая жизнь. Он был неглуп, может быть, даже умен, и во всяком случае в обстановке всеобщего сильного подозрения, в котором держалась университетская наука, а, в особенности, такая заведомо неблагонадежная, как политическая экономия, сумел своим жманфишизмом и легкомыслием избрать самую благую часть.

Талантливым и наиболее увлекательным для молодежи лектором был Коркунов, читавший энциклопедию права. Тогда он еще доцентствовал. Он читал лучше, чем писал. У него не было «бытовых оград современности» à la Вреден, зато было щегольство архи-ученой терминологией, что вполне извинительно, впрочем, для молодых ученых, которые «хочут свою образованность показать». Напечатанные его лекции совершенно не считались с тем, что их будут изучать вчерашние гимназисты, да еще толстовской гимназии, вытравившей всякий философский дух и всякую склонность к умозрительному мышлению. Я был подготовлен своим, хотя беспорядочным, но все же усердным чтением и жадностью своего восприимчивого ума более

других, однако, и мне приходилось потеть над лекциями Коркунова. Большинство же просто заучивало философскую экзегезу идей права наизусть и попугайски повторяло слова, не вникая в их смысл. В устном чтении Коркунова исчезал в значительной мере дух дешевого и скороспелого приват-доцентского гелертерства, да кроме того, у Коркунова была горячность, отсюда живая, убедительная интонация, часто раскрывавшая значение его речи. У него была маленькая смешная, огненно-рыжая бородка, которая как-то особенно убедительно тряслась, когда ему хотелось что-нибудь доказать. Во всяком случае, его я слушал усердно. Сергеевич, Василий Иванович, был известен, как замечательный ученый, — т. е. у студентов это была установленная репутация, — тем более, что в сочинении своем «Вече и Князь» он осторожно проводил идею народоправства. А это уже был патент на непоколебимую репутацию, так же, как и то, что А. Д. Градовский сотрудничал в «Голосе» и был известный поклонник конституционализма. Я не хочу умалять заслуги ни того, ни другого. Оба были, действительно, хорошими профессорами, известными, талантливыми исследователями, безупречными общественными деятелями. Но я говорю лишь о том камертоне, по которому строилась вся русская жизнь. Теперь, когда измеряешь усталым взором всю глубину исторических событий, явственнее видишь далекие корни и нити происходящего.

Читал еще историю римского права Ефимов, — тоже доцент, совершенно незначительная личность. Никто его не слушал. И я часто думаю: какова пленительная гармония римского права, этой несравненной умственной и моральной дисциплины древнего мира, что, даже при таком преподавании, наука эта была любимейшей для моей юношеской мысли!

Итак, временно я забыл о литературе и предался науке. Читал Мэна, Фюстель де Куланжа «La cité antique» и Альфреда Фулье — «О свободе воли» — для Коркунова. Знал я по-французски, что знают обыкновенно гимназисты, даже из числа преуспевающих. Для того, чтобы понять Фулье, я принялся за Поль де Кока. Прочитав романы его «Бельвильскую девственницу», «Gaston le mauvfis sujet» и «Une grappe

de groseille», —я настолько, что называется, «насобачился» (ибо преимущество Поль де Кока пред другими авторами для изучения французского языка заключается в том, что его можно и должно читать без словаря, не обременяя себя), что смог кое-как одолеть и Фулье, и написать даже реферат по сему поводу.

Сколько помню, Фулье, будучи детерминистом, пытался «примирить» его с внутренним убеждением в существовании «свободы воли». Поэтому он построил теорию «свободы в выборе мотивов поведения». Коркунову эта теория представлялась чрезвычайно занятой и удовлетворительной. В сущности, это теория довольно наивная — вроде «не вмер Данила, а болячка задавила». Я теперь уже не помню всей цепи хитроумных сплетений Фулье, которыми он подпирал свою теорию, но в реферате я ее изложил довольно добросовестно, хотя и вступая изредка в полемику. Особенный полемический выпад сделал я по поводу его ссылок на диалоги Ренана, где этот мудрейший человек проповедует (кажется, в «Калибане») идею аристократической олигархии. В качестве обязательного демократа 18-летнего возраста, я, что называется, разделал Ренана «под орех». И тут Коркунов молвил одно слово, за которое я ему глубоко благодарен, ибо с тех пор, быть может, у меня начался упорный процесс обратного размышления. Коркунов сказал: «Вот вы говорите, полное равенство и т.п. Однако, ведь вы не сядете за обеденный стол с ассенизатором, который г...о чистил». Бывает так, что и слово-то не бог весть какое умное, а ударит по темени. Так меня это слово ударило.

Вообще, значение слов, создающих нередко поворотный пункт в умственной жизни, крайне загадочно. Например, я был очень богомольным и религиозным мальчиком, когда однажды на слова мои «бог накажет» выслушал от товарища гимназиста ответ: «Поди ты к черту со своим богом». Он выразился еще грубее. И с тех пор моя религиозность дала трещину. У меня появились материалистические мысли, надолго засевшие мне в голову, — до тех пор, пока умудренная жизнь не стала формировать иного миропонимания и убеждения в том, что истина есть понятие трансцендентальное.

II. ПЕРВЫЕ ДЕБЮТЫ — «СТРЕКОЗА»

Дни шли за днями. Обычные студенческие дни. Утром университет с его шумною жизнью, сосредоточенною не столько в аудиториях, сколько в шинельной и буфете с читальной залой. Хождение на чаепитие к товарищам и к курсисткам, жившим на Кавалергардской улице — прогуляйтесь! Конечно, опера — в то время итальянская — и дежурства за галерочными билетами. Я тут должен сделать признание, весьма, быть может, неожиданное для тех, кто привык считать меня театралом — драматическим критиком по преимуществу, что в драматический театр в первый год своего студенчества я не ходил, а посещал оперу. В Александринском театре за целый год был, кажется, единственно на «Ревизоре». Хлестакова играл Петипа, и это единственный, кого я запомнил, и то, как я теперь понимаю, потому, что меня поразили необыкновенные штаны Хлестакова-Петипа — канареечного цвета и совсем невиданного мною покроя. Отсюда мораль: не надо верить в особую врожденность вкусов — вкусы и влечения воспитываются. По бессознательному влечению, я должен был бы стать компримарио в опере (голосок у меня был) или во всяком случае музыкальным рецензентом. А вышло иное.

Вскоре, однако, первые бурные впечатления студенчества улеглись. Когда Сергеевич, открывая курс истории русского права, начал свою лекцию обращением: «милостивые государи», мне показалось, что небеса разверзлись предо мною, и я вкушал — буквально вкушал — каждый раз это радостное и почетное обращение. Но постепенно вошли в привычку и «милостивые государи», и лекции. Мэн остался недочитанным. Боюсь, что Фюстель де Куланж — тоже. Легкая восприимчивость, переменчивость, живость нрава, то, что называется «импрессионизмом», слишком владел мной и роковым образом толкали меня на ту стезю, которая должна была стать стезей, увы, едва ли достаточно удовлетворившей меня жизни — на стезю журнализма. Бумагомарание опять стало любимым занятием моих ночных досугов

в крохотной моей комнатке. Я сидел на кровати, а бумага лежала на столе, и я марал. Собственно, марал без всякого определенного плана. Почему-то я стал увлекаться юмористическими журналами, и верхом литературного блеска мне казались «Стрекоза», а затем журнал Лейкина «Осколки». Я думаю, что это не моя только слабость и не только мой личный конфуз. Как известно, со «Стрекозы» началась литературная деятельность Чехова, а И. Ф. Василевский (Буква) мне как-то рассказывал, что и первые опыты М. Горького появились также у него в журнале. Очевидно, есть какой-то закон возраста, когда тянет на бабочку: с сачком в поле и с пером в литературе. Эти юмористические журналы представлялись прехорошенькими бабочками. Притом это особенная литература — страшно коротенькая. Что-то блеснет, зафиксируешь — оно и готово. Среди сотрудников юмористических журналов у меня был свой герой, если хотите, идеал. Это был некто, подписывавшийся И. Грэк. Только через много лет я узнал, что это был псевдоним В. В. Билибина. С Билибиным я был впоследствии в хороших отношениях и очень любил его. Но литературным героем его уже не считал, хотя, несомненно, он был человек талантливый. Я думаю, ему мешало больше развернуться то, что литература не была его единственной деятельностью: он занимал какой-то довольно ответственный пост в почтамте. Увы, что может быть прозаичнее? И это- особенно было бы невероятно для меня в то время, когда, я мечтал об И. Грэке, как о славном, непременно задумчивом, непременно брюнетистом (с матовым цветом лица) писателе. Иногда я вглядывался на улице во все живописные лица и думал про себя: вот это И. Грэк! А И. Грэк сидел в это время в почтамте, пробегая своими светло-голубыми глазами разные пост-пакеты. И нос у Билибина был, как говорится у Гоголя, самый обыкновенный нос, и при этом с краснотой...

Бывало, сидишь пред листом бумаги и придумываешь разные каламбуры или якобы сентенции и афоризмы и юморески, или что-нибудь пародическое. Например, антитезы á la Виктор Гюго: «Черт и ангел! Рай и ад! Зубной врач и мольный оператор!» И т. п. Я решительно теперь не помню, какие такие замечательные строки сочинил я и отправил

по почте в редакцию «Стрекозы»... Я затерял, вообще, девять десятых своих писаний, разбросанных по разным изданиям. Подписался я М. О. Зырянин. Это мне казалось, по меньшей мере, столь же остроумным, как И. Грэк, и столь же каламбуристым. Выходила «Стрекоза» по субботам. Помню осенний слякотный вечер, когда я пересохшим языком спросил у газетчика на углу Вознесенского и Екатерингофского номер «Стрекозы», уплатив 20 коп. из тощего своего кошелька. И когда я развернул газету у газового фонаря, и увидел на 3 или 4 странице часть своих «мыслей» или «афоризмов», подписанных «МОЗ», то буквы, поистине, запрыгали у меня перед глазами.

Было это в октябре 1882 г.

Я долго лежал на кровати, обдумывая это невероятное и торжественное событие в моей жизни. Я забыл сказать, что к этому времени хозяйка моя переехала на другую квартиру, на Вознесенский пр., и комната у меня была на 1,5 руб. дороже и значительно лучше. Хозяйка моя была очень добрая женщина и иногда прибегала к весьма оригинальной форме помощи. Я держал свои деньги в ящике комода, который никогда не запирался. И вот, случилось, ищу я каких-нибудь 3 пятака, которые, по моему расчету, у меня еще остались, и на которые можно купить фунт хлеба и две сосиски, и вдруг нахожу пятиалтынный, сверх пятаков, или двугривенный. Зная свою беспорядочность, я долгое время радовался этим сюрпризным находкам и отправлялся обедать к Шеметову в кухмистерскую, где за 30 коп. давали два блюда, и, как *hors d'oeuvre*, сколько угодно редьки, красовавшейся на столе. Но когда, однажды, тщательно обыскав ящик и выбрав все содержимое, я все-таки нашел на следующий день, кроме своего пятака, еще и пятиалтынный, — я и сконфузился, и разозлился, и пошел объясняться с хозяйкой. Она опустила глаза и упорно отрекалась, но я раз навсегда — о, я был дьявольски горд — попросил ее больше не разыгрывать роли доброй феи. Она была, кстати, очень небогата, схоронила старика-мужа, и целые дни бегала по кредиторам покойного, стараясь получить что-нибудь из старых долгов. В общем это была добрая душа, но ясно, что с ней говорить о литературной карьере я не мог.

Единственный человек, которому я мог бы сказать это и выслушать в ответ то, что, казалось, мне было необходимо, — был Кор-женевский. Он жил в коллегии Полякова при университете, и это было чертовски далеко. Притом я не любил коллегии. Незадолго до этого в университете был ряд сходок и демонстраций по поводу этой коллегии, и я в них тоже участвовал, и когда приехал градоначальник Грессер и стал нас уговаривать разойтись, то, разумеется, я не ушел, а слушал с восторгом речь М. Л. Мандельштама (впоследствии известного присяжного поверенного и члена кадетской партии), произнесенную им с высоты вешалок в шинельной. Потом я вместе с другими был отведен в манеж Павловского училища и пр., и хотя я не пострадал, ибо явно держал себя не как демонстрант, знающий, из-за чего он демонстрирует, а как сущий дурак, но мне было все это неприятно, включая коллегию, Тем не менее, после двухчасового восторженного лежания на кровати, я отправился на Васильевский остров, захватив с собой, разумеется, драгоценнейший, исторический номер «Стрекозы». Я застал Корженевского за лекциями по минералогии, и, повидимому, не в очень хорошем настроении, так что минут 10 я не решался заговорить с ним. Наконец, решившись, вытащил скомканный лист, и, прокашлявшись от смущения, протянул Корженевскому: «А тут, Митрофан, — сказал я, — есть мое»...

Митрофан вонзил в меня свои злые, черные глаза и молвил: «Ну, ну, давай...» Затем прочитал. По-моему, он ни разу не улыбнулся. О, жалкий жребий юмориста! Сердце у меня похолодело. — «Ну, что-же, валяй», — сказал он по прочтении. — «Когда за гонораром?» О гонораре я забыл, хотя при моих финансах (рублей 20–25 в месяц, получавшихся с трудом из дому) — это был вопрос очень важный. Поискав в журнале, — узнал, что редактор принимает по средам на Николаевской ул. Должно быть, и гонорар там же платят. Строк было напечатано 40 или около того. Ежели в каждом номере хотя бы по 40 строк, то выйдет рублей 8–9 в месяц, и это значительно улучшало финансовое положение.

— Я тебе говорил, дурак, что напрасно не хлопотал о стипендии, сказал внушительно Митрофан. Ну, пиши, черт с тобой!

Поощрение было не особенно замечательное, так что из-за отсутствия должного консонанса я скоро ушел, тем более, что до смерти хотелось творить, творить, творить... Былосочинено еще несколько «афоризмов» и «сентенций», между прочим, помню такую мысль, достойную Лябряюера и Ларошфуко: «Наряд — оружие женщины. Поэтому побежденная женщина слагает свое оружие». Затем была написана пародия на новую «психологическую» манеру Максима Белинского, начинавшаяся так: «У него где-то что-то внутри стукнуло. Вынув из стола что-то гладкое и холодное, он приставил его к виску. Что-то в нем и вне его не давало чему-то покоя». И т. д. Все это сочинялось, перемарывалось, дегустировалось на тысячу ладов, переписывалось с субботы до самой среды. В среду я отправился на Николаевскую, в редакцию «Стрекозы». Было часов пять хмурого осеннего дня. Я шел и ни о чем не думал. 'Го, что предстояло, было так огромно, что и мыслей нельзя было собрать. Сейчас не помню я ни дома, ни входа. Кажется, что помещение было в первом этаже. Зато хорошо помню, что вывеска редакции и конторы была маленькая, фасад же был занят вывескою: «Фабрика каучуковых штемпелей Г. Корнфельда». Что Герман Корнфельд был издателем «Стрекозы» — это я знал, но что вместе с тем юмористика состояла не только в тесной связи, но и в тесном подчинении у каучуковых штемпелей — это я узнал, лишь когда вступил в редакционное святилище. Коридоры и целый ряд комнат были уставлены кипами клише, какими-то тюками и т. п. Свет еще не зажегся, и в полутемной редакционной комнате, куда меня ввели, я заметил у окна двух собеседников: одного сухощавого, среднего роста, с рыжеватыми усами, и другого — низенького, с длинными вьющимися волосами. Разговор у них шел бойкий и оживленный. Было совершенно ясно, что низенький, с длинными волосами, был сам Василевский, несравненный Буква, король остроумия, и другой, очевидно, какой-то сотрудник, а может быть, просто знакомый редактора. Разговор длился довольно долго, так что я имел достаточно времени, чтобы оглянуться. Но было досадно, что не давали света. Несколько раз в дверях появлялся невысокого роста господин, «седой наружности», грузно и нескладно

ступавший и усердно покашливавший. Однажды он сказал не то с немецким, не то с еврейским акцентом: «Ну, что же, Ипполит Федорович?» Но ответа не последовало, и седоватый господин исчез во внутренних аппаратах. Наконец, собеседники стали прощаться. Наступил критический момент: сейчас ко мне подойдет низенький человек с длинными волосами, сам Буква, и скажет: «Это вы М. О. Зырянин? Давно жду знакомства с вами!» И вот первое разочарование: низенький господин с длинными волосами, нахлобучив мягкую, поярковую, настоящую литераторскую шляпу, вышел, а ко мне подошел аккуратно подстриженный сухощавый человек, с острыми глазами и слегка вьющимися рыжеватыми усами. И я сразу почувствовал тоску. Что я говорил — не помню. Что говорил Василевский — тоже не помню. Кажется, говорил, чтобы относил материал на Офицерскую, к нему на квартиру. Разговор длился ровно полминуты. Он боком сунул мне руку, уже полуотвернувшись, и я явственно услышал: «7 коп. за строку». Правда, столь замечательный гонорар превышал все мои ожидания. «Сколько же получает Эмил Пуп?» — мелькнуло у меня в голове. Эмил Пуп был мой любимый поэт из «Стрекозы» — образ почти столь же величественный и загадочный, как и И. Грэк. Однако, несмотря на ожидающее богатство, на душе у меня было тоскливо. Вышел пожилой человек и снова спросил: — «Ну, что же, Ипполит Федорович?» — «Сейчас, Герман Карлович!» Это был сам издатель. Герман Карлович поднял с пола тючок с каучуковыми штемпелями, сдунул пыль и крикнул: «Грише! Грише! увозьмите это! Что такое за безобразия!» Я еще подождал, и когда Герман Карлович снова появился па пороге, он посмотрел па меня через очки и сказал: «Хотите гонорар?» «Хочу», — ответил я. «Заходите!» Я зашел в другую комнату, где стоял большой конторский стол. Герман Карлович вынул толстую книгу, долго записывал мою фамилию, потом вынул №, посмотрел на синюю карандашную надпись и, заставив меня расписаться в книге (рука у меня шибко при этом дрожала), вручил 3 р. 04 к. Я затерял свою записную книжку, где был записан этот мой первый гонорар. Какое самое сильное впечатление было в моей жизни? Первый поцелуй или первый гонорар?

Назавтра я отнес на Офицерскую новые свои «произведения», которые и появились в двух номерах, и Герман Карлович выдал мне уже 7 р. 56 к. Вообще, дела шли превосходно. В большом доме Лихачева по Вознесенскому пр. угол Екатерингофского, битком набитом студентами, я уже имел солидную репутацию литератора. Мои литературные планы ширились. Я мечтал уже о некоторой юмористической энциклопедии. Но тут случилось несчастье...

На склоне дней, когда дьявол уже не может больше грешить и поневоле становится отшельником, — вообще, критически относишься к своей особе. И теперь, после того, как мною столько написано, слишком написано, — еже писах — переписах, — я вижу, как много было в моем умонаклонении хитросплетенного и единственно к формальной цели направленного остроумничания. По мере сил я старался от него избавиться, но избавился ли? Тогда это умонаклонение было господствующим. Я прочитал статью о Гартмане и его «Философии бессознательного», которая тогда была в большой моде и еще совсем внове, и пленился известным его афоризмом: «Das Nichtsein ist besser als das Sein» — «небытие лучше бытия». Кстати сказать, эта мысль проще и поэтичнее выражена в «Эдипе» Софокла: «Лучше совсем не родиться, а кто родился — тому скорей умереть». Но и Гартману, и его афоризму повезло — это была тема дня. И вот, я, понатужившись, засел за юмористическую философику на мотив этого афоризма. Мне это, якобы юмористическое перевертывание, казалось необыкновенно остроумным и глубоким, и считал я это свое «произведение» удачей из всего, что я написал. Отнес и стал дожидаться следующего номера «Стрекозы». И вот, представьте мой ужас, когда я, вместо напечатания этой «юморески», нашел в «Почтовом ящике» следующие слова: «Примите касторового масла вместо гонорара»...

Это была катастрофа и, быть может, почтенному И. Ф. Василевскому, который так обязательно поднес мне касторового масла, даже на ум не могло прийти, какое это имело на меня огромное влияние. Начать с того, что, будучи от природы очень стыдливым и самолюбивым, я долгие годы носил, так сказать, в сердце открытую рану и как-то

спрятался. Я боялся выступать. Я и сейчас — смешно сказать! — на незнакомом месте чувствую себя, как дебютант. Я стал избегать редакций, я возненавидел юмористические журналы, я боялся генералов от литературы, и по сей день мне все кажется, что они могут посмотреть на меня сверху вниз, и тогда старая обида загорается в душе, и полузаживший рубец от раны краснеет и наполняется кровью. Среди разных других причин, заставивших меня долгое время скитаться по более или менее сомнительным литературным захолустьям и углам, — воспоминание об этом грубом ударе хлыста по юношескому моему самолюбию играло, я убежден, не последнюю роль. Первая моя мысль была о том, не прочитали ли все мои товарищи и знакомые о роковом предложении касторового масла. Дня два я никуда не показывался. Потом рискнул. К счастью, кажется, никто не прочитал «Почтового ящика», а и прочитал, так не обратил внимания. С этой стороны я успокоился, но литературным упражнениям моим пришел конец. Я не писал ничего почти год, т. е., может быть, для себя что-нибудь царапал, но даже и не помышлял о том, чтобы печататься. Снова окунулся и с головой ушел в студенческую жизнь, готовился к экзамену, летом уехал к себе на родину, и все время путался с бродячей труппой актеров, игравших в Мозыре. Я играл самые неподходящие и невероятные роли: Золотова в «Горькой судьбине», Шпигельберга в «Разбойниках», Акульку в «Горькой судьбине», пел куплеты из «Маскотты» — вообще, помогал этим потерянными, но милыми созданиям, чем мог. Играл я, вероятно, скверно, но так как все кругом было так же скверно, то я не выделялся в худую сторону. Но литературу, писание — к черту, к черту, в шапку, в подкладку.

Совершенно не могу припомнить, каким образом и по чьей инициативе я вдруг стал петербургским фельетонистом екатеринославской газеты «Днепр». Я начал в ней сотрудничать зимой 1883 г. Во главе газеты стоял Г. И. Шрейдер, впоследствии известный соц. революционер, политический эмигрант, бывший до октябрьского переворота во время революции петербургским городским головой. Издателем газеты состоял некто Беляев, присяжный поверенный.

В числе сотрудников был Ганейзер и др. Газета была направленная и бойкая, и выходила, кажется, 3 раза в неделю. Так как главное управление по делам печати очень быстро заметило в газете «душок», то оно придумало весьма любопытную меру «пресечения зла»: именно цензурование газеты, издававшейся в Екатеринославе, было передано в Москву! Газета, естественно, скоро захирела...

Я думаю, что меня отрекомендовал редакции «Днепра» кто-нибудь из екатеринославских студентов; их была целая куча в знаменитом доме Лихачева, и, хотя я в то время жил уже на Измайловском проспекте у немки, имевшей модный магазин (ход через кухню, 7 р. в месяц), но частенько посещал эту компанию. Иначе я не могу себе объяснить происхождение моего сотрудничества. С Г. И. Шрейдером я так и не имел за всю жизнь случая познакомиться, а с Ганейзером, кажется, познакомился в начале девятисотых годов. Но у меня, помню, было письмо на редакционном бланке, с приглашением сотрудничества и с разными редакционными desiderata. Гонорар был мне назначен 2 коп. со строки. Я писал раз в неделю фельетоны, а иногда и корреспонденции, и подписывался «Аэрка». Должно быть, писания мои нравились, потому что я получил еще одно письмо от редакции. Писал я страстно и либерально обо всем: о крестьянском и дворянском банке, о театрах, в которых я не бывал, о совместительствовавших сенаторах, которых не видывал, о постройке Сенного рынка и муниципальных скандалах, по газетным сведениям, и т. п. Вероятно, это было вполне по вкусу провинциального читателя того времени. Конечно, я любил писать и писал охотно. Но гонорара, увы, не получал, хотя позволял себе неоднократно напоминать об оном. Дела мои были совсем фи-нансовые. Отцу я врал из самолюбия, что «существую литературою», да и обстоятельства у него были тяжелые; жил же я на стипендию в 15 р. в месяц, да иной раз на урочишке перепадет что-нибудь. Я обедал — блестящий обличитель сенаторов и петербургского городского головы, Аэрка — за 8 коп. в студенческой кухмистерской на 16 линии, и оттуда пер пешком каждодневно к себе домой, на Измайловский проспект! А гонорара все не было и не было. И вот, однажды, утром — дело было на

масленице, чуть ли не в субботу — я получил сообщение, что приехал издатель газеты Беляев, и просит меня зайти. Я подсчитал, что мне следует — сумма была чудовищная — 128 рублей! Встал я спозаранку, побрился на последний пятиалтынный и отправился. Беляев остановился в каких-то мебелированных комнатах. Это был субъект с круглой, не большой, рыжей бородкой, довольно сухого вида и быстро бегающими глазами. Он меня поблагодарил за сотрудничество в газете, которая, увы, должна кончиться, или кончилась, и намекнул на большие убытки. «Вам сколько следует?» — спросил он. Я ответил. «Гм!» — сказал он, не глядя на меня. — «У нас такие затруднения. Вот, позвольте мне предложить вам 50 рублей». Пятьдесят рублей! Это, разумеется, не была Голконда в 128 рублей, но это были 50 рублей! Я взял деньги, не в силах скрыть радости. Беляев скользнул ко мне холоднопроницательным взглядом и, вероятно, подумал: «Эк я дурака свалял, довольно было бы с него и четвертной».

С пятьюдесятью рублями я вышел на праздничную улицу. Чирикали воробьи, прыгая по талому снегу, сверкало солнышко, носились вейки, позвякивая бубенцами. Я не знал, что мне делать со своим богатством. Тут я увидел трактир и людей в поддевках, которые ели блины. Я никогда не едал блинов в трактире. Мигом я очутился в заведении и спросил порцию блинов, с маслом, сметаной и сметками, за 75 копеек! И когда я вышел из трактира, то понял, что жизнь полна многих, еще неизвестных мне радостей, до которых, может быть, когда-нибудь дойдет мой черед.

III. СОТРУДНИЧЕСТВО ПОД МАСКОЙ. «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ» В. Г. АВСЕЕНКО

При всем том, мой, если можно выразиться, «успех» в газете «Днепр» стоит совершенно особняком; он ни на волос не придвинул меня к журналистике и нисколько не отучил ни от дикой застенчивости, ни от чрезвычайного страха. Это было спорадическое, так сказать, сотрудничество. Если память мне не изменяет, на следующий, кажется, год я поместил статью в газете «Новости», но этой статьей, кажется, мое сотрудничество в «Новостях» и ограничилось и, мне думается, что, несмотря на нужду в деньгах, я не получал за нее гонорара, т. е. не рискнул отправиться в контору. Статью я написал по поводу книжки Скальковского «О женщинах», изданную им под псевдонимом «Вопросительный Знак». Статья моя, преисполненная самого горячего полемического задора, так и называлась. — «Об одном вопросительном знаке». К *persiflage*'у и эпикурейщине Скальковского я отнесся, конечно, как подобало благородному молодому интеллигенту, и костил автора, что есть мочи. Статья начиналась, помню, латинским изречением «*Habent sua fata libelli*», и была, вероятно, так же банальна, как и вступительная цитата. И это, может быть, и было главной причиной того, что статья поправилась О. К. Нотовичу. О. К. Нотовича я потом встречал довольно часто и знал довольно хорошо. Его «восьмистолбцовой», как язвило «Новое Время», газете не хватало многого, но мне думается, главное — не хватало ума, и либерализм ее был самого умеренного образца. Говорили, будто, закрыв «Голос», Д. А. Толстой всячески мирволил Нотовичу, так как-де находил, что «маркиз О'Квич», как подписана была книжка последнего «Немножко философии», переведенная кем-то на французский язык и названная в библиографическом отделе «*Journal des Débats*» «*un oeuvre bien étrange*» — есть такой паладин либерализма, который наилучше способен погубить его. Будто

бы, глядя на редакцию «Новостей», из окна министерской квартиры (на Мойке — редакция «Новостей» помещалась в длинном одноэтажном, с подвалом, доме, существующем и поныне), всесильный министр говорил окружающим: «Посмотрите, вот мой противник: дурак, жид и либерал». Я думаю, конечно, что это motto сочинили недоброжелатели О'Квича. О. К. Нотович, в сущности, был не дурной и не лишенный образования человек. Но он страдал не то сомнением, не то каким-то водевильным эгоцентризмом. Кто-то из сотрудников прозвал его не без меткости — «Я сам». Я узнал О. К. Нотовича довольно близко в 1900 или в 1901 г., и меня поразил, при всей его доброте (он мне оказал небольшую, по тому времени, однако, для меня ценную услугу) и даже при несомненной правильности суждений, какой-то дурной тон, насквозь его проникавший. Я бы сказал, что он был лишен такта и притом очень развязен. Газета же была «сера» и серостью своей искупала свой либерализм. Он не умел подать газетного блюда, и кроме того был плохой полемист, чем бессовестно, надо сознаться, пользовалось «Новое Время». Буренин еженедельно изошрял над бедным Нотовичем свое остроумие. Что он писал! То он изображал его владельцем кассы ссуд, то сидящим в «микве» и кладущим «Новости» «под стегно» талмудистом. То он писал по поводу переделки «Misérables» Нотовичем в пьесу: «Гюго и Нотович! Величественный океан поэзии и грязная капля миквенной воды! Монблан романтизма, и маленькая ничтожная луковица у его подножия». Самое глупое в поведении Нотовича было то, что он не молчал, а неудачно отругивался; он совершенно не умел с достоинством держать себя. Так, например, ему очень хотелось, когда, на горе себе, он пустился в драматургию, чтобы об его пьесах были заметки в «Новом Времени». Написав пьесу «Дочь», он немедленно через одного из сотрудников послал об этом заметку в «Новое Время». Старик Суворин очень обязательно исполнил желание Нотовича, заметка была напечатана, но, к сожалению, вкралась досадная опечатка: было напечатано, что О. К. Нотович написал новую пьесу «Дичь». Как молодой пикадор, я впоследствии долгое время привязывался к Нотовичу и изо всех сил дразнил его. Даже к бородавке

его, — действительно, странной, украшавшей центр его лба, — я приставал. Стыдно вспоминать... Но клокотал темперамент, и черт знает на что уходил!

О Нотовиче мне еще придется, надеюсь, вспомнить. Сейчас я сделал невольно это отступление, увлекшись в сторону. Хотел же я сказать, описывая добросовестно свою газетную карьеру и подготавливая объяснение дальнейших своих зигзагов, что вот был, как будто, случай напасть на линию. Статья была напечатана, видимо, понравилась почему бы Нотовичу не поощрить неизвестного молодого автора, авось бы толк вышел! Но поощрения не было. Меня в редакцию не звали, а я, подавно, боялся и нос туда показывать. ' Так это дело и замерло.

Несколько месяцев, кроме разных брульонов для себя, я ничего не писал. Не писал бы, может быть, и очень долго, если бы не случай. У, меня был земляк студент К., человек столь же назойливый, бесцеремонный и храбрый «безумством храбрых», сколь я был застенчив и стыдлив. Он успел втереться в разные редакции, и, между прочим, в «Петербургскую Газету», где ему иногда поручали маленькие отчеты о разных «собраниях». Писать он был не мастер — вернее, совсем не умел писать. И вот, в один прекрасный день он мне предложил исполу работать в «Петербургской Газете» Он-де будет ходить по собраниям, а я буду излагать его «впечатления» и заметки, а гонорар—5 коп., — пополам, по 2,5 коп. за строку. Предложение мне очень понравилось; это было как раз то, что нужно. Деньги требовались до зарезу, знать меня никто не знал, К. будет бегать, а я только стану заниматься «письменной работой». Так и пошло. Часов в 10–11 вечера, а то в 4–5 дня ко мне забегал К. с ворохом записок, а я, не устаивая даже выслушать его до конца, тут же, походя, писал и придавал «литературную форму». «Литературная форма», видимо, нравилась, потому что заказы К. из редакции так и сыпались, и на мою долю приходилось в иную неделю руб. 15, что представляло уже, так сказать, капитал и давало возможность существовать совсем безбедно. К. знал вкусы редакции и давал свои указания, которым я безропотно следовал: в описания выставок или торжеств следовало непременно вставлять фразу «В публике было

много хорошеньких дам» или «Среди многочисленной публики выделялся ряд хорошеньких и нарядных дам». Редактор, повидимому, был аматер по дамской части. Бывало, увлечешься описанием какойнибудь кустарной выставки, которой, конечно, и в глаза не видел, размахнешься, закончишь каким-нибудь хлестким афоризмом, да так и сдашь. К., на ходу набрасывает пальто и мчится, но вдруг возвращается: «Эх, А. Р., — что же вы, про, «в числе которых было много хорошеньких дам», не поставили? И две строчки лишку, да и звучит для конца красиво!"

Однажды — то было раннею весной — к концу экзаменов, К. явился торжественнее обыкновенного, и, потирая руки, как он дельвал в случаях волнения, сказал мне: «Худекову так правится моя работа (я так смирился духом, что даже не обратил внимания на то, что К. считал писание в газете своей работой), что он предложил мне написать ряд очерков о Вяземской Лавре. По 6 коп., батенька, и строчек можно валять в каждом очерке по 300—400. Так вот, батенька, давайте! У меня и редакционное удостоверение припасено». И он показал мне редакционный бланк, на котором значилось, что такой-то (имярек) командирован для осмотра так называемой Вяземской Лавры. «А как же я-то пойду? У меня нет удостоверения» — «Пустяки», — решил К., — «я вас выдам за своего секретаря».

«Вяземская Лавра» — нынче многие даже название это забыли — был громадный старый, с флигелями и пристройками, дом на Садовой близ Забалканского (где нынче новые шестиэтажные дома), представлявший настоящее «дно Петербурга». Сенной рынок еще к тому времени только строился, поэтому огромная «Лавра» была соединением парижских «Halles Centrales», с их подземной жизнью, хулиганством, сутенерством и т. п., и петербургских трущоб доброго старого времени. Полиция давно махнула рукой на Лавру. Только бы не очень дебоширили и вопиющих безобразий не делали. Может быть, конечно, тут было и своего рода «сотрудничество», или официальное непротивление злу. Но несомненно, что Вяземская Лавра была самым любопытным, самым оригинальным углом старого Петербурга. Тут жили пропойцы, отставные чиновники, мелкие

закладчики, фабрикантши ангелов, безработные, сутенеры, специалисты по мелким кражам, почему-либо потерявшие клиентов, дешевые проститутки, котировавшиеся не выше полтинника, селедочницы, татары-старьевщики, зеленщики, ярославские мальчишки, приехавшие в Питер делать карьеру, и пр. и пр. Тут была своя аристократия, своя иерархия, свои социальные классы, своя борьба «за освобождение труда» — вообще все свое, как в жизни, но через призму Вяземской Лавры. Бесконечные коридоры и лестницы напоминали средневековье. Газовый рожок, а чаще керосиновый ночник тускло освещал целые кварталы нищеты и порока. Нас встретил управляющий домом, которому К, отрекомендовал меня быстро и решительно: «Александр Романович (?) — мой секретарь». Я не протестовал ни против Романовича, ни против титула. Управляющий был хитрейший мужчина — это я даже при своей тогдашней юношеской неопытности и тогдашнем молокососстве заметил. С полицией он ладил, надо было и с прессой поладить. Вероятно, охотно сунул бы что-нибудь в руку, но К. был слишком юрок, а я — слишком глуп. Он не решался, и осторожно пробовал почву. Показал кое-что, но не самое неказистое. Когда же я ему сказал, что-де интересно было бы посмотреть для литературного, так сказать, интересу самое «дно», — он долго угощал нас чаем с ромом, и не совсем охотно повел нас в какие-то катакомбы, где у дверей разных коридоров стояли огромные, грязные женщины и дико ругались. Я старался более или менее запоминать, что видел, хотя видел мало, но я надеялся на фантазию. Ах, эта молодая фантазия! Отчего теперь есть все сорта уловов, все тонкости литературных приемов, все ухищрения мастерства, а строить не из чего — нет фантазии, которая тогда населяла мир и творила все из ничего!

Я накатал одним духом 4 или 5 очерков. В основание, кажется, были положены смутные воспоминания «Notre Dame de Paris» и «Misérables» Виктора Гюго. В Вяземской Лавре жили: Гавроши — спичечники, Эсмеральды — зеленщицы и селедочницы и добрый Квазимодо, хромой бочар. Строчки набегали сами собой... Худеков был в восторге, К. приобретал день ото дня большую важность; я же пил

жизнь, как пьяница вино. Все было хорошо, все прекрасно. Получив около 40 р. гонорара на свой пай, я собрался домой на летние каникулы, и чувствовал то, что должен, вероятно, чувствовать молодой колос, наливающийся влагою будущего зерна...

Я перешел на 4 курс, приехав осенью в Петербург, и, имея «помощи» со стороны К., который почему-то «разошелся» с газетой, — кажется, попробовал что-то писать самостоятельно, и жестоко провалился — очень бедствовал. Дня по два, но три приходилось сидеть на селедке с чаем. В ту пору мы, студенты старших курсов, усердно посещали заседания юридического общества (по субботам), где разбирался проект нового уголовного уложения. Заседания были на редкость оживленные и яркие. Кроме профессуры, в заседаниях принимали участие многие сенаторы и светила адвокатуры. Талантливее и остроумнее всех был П. Я. Александров, прославившийся своею защитою Веры Засулич. Он был, можно сказать, до краев переполнен едким сарказмом. Худой, с маленьким, некрасивым, странно усеченным лицом, напоминающим обгрызанную селедку, он говорил высоким, режущим голосом, с злобною ирониею и большим сосредоточенным темпераментом. Лично мне его ораторский талант представляется и поныне, кажется, одним из самых ярких и замечательных. Несколько напоминал его, по мефистофельскому тону, известный Герценштейн, убитый союзом русского народа, только темперамента александровского у последнего не было. «Хорошо было бы дать заметку в газету!» — подумал я. Но в какую? Ясно, что и «Новое Время», и «Новости» имеют тут своих корреспондентов. Это были две единственные политические газеты того времени, да еще «Санкт-Петербургские Ведомости», перешедшие недавно под редакцию В. Г. Авсеенко. Разве попробовать в «Санкт-Петербургские Ведомости»? Так я и решил. Утром я написал заметку, строк, в 50–60, и отдал со страхом и трепетом швейцару. Редакция помещалась на Троицкой улице, вблизи Графского переулка. Показалось мне, что швейцар крайне презрительно взглянул на мое пальтишко, сверх которого был накинут драный плед, и это привело меня в окончательное смущение. Ранним

утром побежал я к газетчику, купил «Санкт-Петербургские Ведомости» — и в хронике нашел всю заметку, целиком и даже без всяких изменений. Вопрос шел, значит, о том, чтобы получить гонорар и пообедать. Я вызвал К. и сказал ему: «Слушайте, я сам отнес заметку, сам придумал обратиться в редакцию «Санкт-Петербургских Ведомостей» — по всей справедливости, это мои деньги. Тут рубля на три с половиной. Но за гонораром пойдете вы, потому что я стесняюсь, — и тогда, извольте, поделимся». К. сейчас же пошел, а я считал минуты. Ждать пришлось не долго, так как жил я по близости, на углу Невского и Литейной. У К. нос был повешен на квинту. «Гонорар выдается по субботам» — сказал он грустно. А был понедельник... Мучительно долго тянулись дни. Наконец, наступила суббота. И тут случилось еще осложнение: К. отдал в починку пальто и не мог выйти. Пришлось пойти самому. Я не в силах передать, как я волновался и какую удивительную фигуру представлял собою, сняв внизу у швейцара пальто и поднявшись в помещение конторы и редакции. На мне, помню, была совершенно идиотская визитка, сшитая «лучшим» мозырским портным, с полами, расходившимися чуть ли не от воротника, неопределенного цвета брюки «с искрой наваринского дыма» и узенький, десятикопеечный черный бантик вместо галстука. Взглянув в зеркало, я увидел бледное худое лицо с взлохмаченной копной волос и грустнорастерянными глазами. Вдобавок университетский наш доктор, — изрядный коновал, надо сказать правду, — прижег мне ляписом подбородок, отчего образовалось огромное черное пятно... Ансамбль был редкий. Пересохшим языком я объяснил очень строгой даме, сидевшей за главным столом, цель моего посещения, причем на слове «гонорар» голос понизился до шопота умирающего. «Ваша фамилия?» сказала она тоном начальницы женской гимназии. Я пролепетал. «Потрудитесь подождать, присядьте». Я скромненько, воздушно касаясь стула, присел у окна. Весь этот день, сыгравший главную роль в моей жизни, я помню с отчетливейшими подробностями. По петербургскому обыкновению, день выдался серый, дождливый, пасмурный, и хотя время еще было не позднее, часа 4 пополудни, но уже стемнело. То и дело, в комнату

из боковых дверей входили и выходили разные люди. Со священным трепетом думал я про себя: «это сотрудники». Случалось, что они подходили к столу, где сидела строгая дама, и расписывались в книге, а она им выдавала деньги. «Гонорар!» — соображал я и помню, что ни малейшего удивления не вызывало во мне то, что они получали деньги, а я сидел и ждал. Понятно, что я должен ждать, и это совершенно в порядке вещей — они, сотрудники, получают, а я, молодой человек в идиотской визитке, должен ждать. От множества лиц, мелькавших предо мною, и от волнения, я не запомнил ни одного лица. Все они сливались для меня в какой-то величественный организм газеты, которой, можно сказать, огнедышащий кратер я видел в первый раз в жизни. Из комнаты направо доносились громчайшие раскаты смеха и рокочущий громopodobный голос. «Должно быть, сам редактор!» — решил я. Но дверь отворилась, и, звякая шпорами, оттуда появился саперный, как мне показалось, подполковник или полковник, с аксельбантами, и тем же громopodobным голосом попросил выдать ему гонорар. «Сейчас, Владимир Карлович!» Владимир Карлович повернулся на каблуках и, сказав что-то молодой конторщице, расхохотался так, что задрожали стекла. Это был В. К. Петерсен, писавший под псевдонимом «П. Ладожский» литературные и общественные фельетоны — человек одаренный и умный, о котором, к сожалению, в литературе не осталось почти никаких следов. Умер он в чине генерал-майора, и в «Новом Времени» был ему краткий некролог — тем дело и кончилось.

Тянулось мое сидение уже больше часа, Я не испытывал, конечно, нетерпения, ибо то, что я видел, было для меня заманчивее самой интересной сказки из «Шахерезады». Уже совсем смеркло, когда, припадая на одну ногу, прошел мимо меня сухощавый человек среднего роста, с редкой, седоватой шевелюрой, и дама, сидевшая в конторе, сказала: «Вот, Василий Григорьевич, — сотрудник, о котором вы спрашивали». Господин живо на меня оглянулся, протянул мне руку и сказал: «Пожалуйста, зайдите ко мне», и направился вперед в смежную комнату. Все это продолжалось одно мгновение, но мысль моя прожила десять лет.

Господин посмотрел на меня в кабинете еще раз умными, черными глазами и молвил: «Это ваша заметка об юридическом обществе?» «Моя». «Она хорошо написана, литературно. Пишите дальше». Я пролепетал: «О чем?» О чем хотите! Вы знаете языки?» «Более или менее французский». «Ну, это немного!... Вот если бы знали немецкий»... Я промолчал. «Вы студент?» «Да». «Так пишите... У вас есть перо». «И об юридическом обществе можно?» Он улыбнулся: «Можно».

Я вылетел из кабинета, как птица, и только на лестнице вспомнил, что не получил гонорара, и вернулся назад. Получил я 3 р. 15 коп. — помню отлично. В этот день я обедал с приятелем, ныне прис. пов. (правозаступником) В. Г. Генкеном, на углу Невского и Литейного в «шикарной» кухмистерской за 40 к. с кофе. У меня горели щеки от возбуждения, и уже в 7 часов вечера я был в юридическом обществе. Даже огней не зажигали, и с час я бродил по темному коридору.

Так началась моя настоящая газетная, уже не прерывавшаяся, карьера. В. Г. Авсеенко я многим обязан, и этому человеку, помогшему мне овладеть «тайной» журнализма и открывшему меня, принадлежат самые лучшие мои воспоминания. Он был первый, который не прошел мимо и оглянулся на случайного автора. По натуре В. Г. Авсеенко вовсе не был экспансивен и отнюдь не принадлежал к числу увлекающихся людей. Он был скорее сух, уравновешен и сибарит. Но он был литератор, в истинном смысле этого слова. Он был от литературы. Оттого он и обратил внимание, вероятно, на заметку в 60 строк — он в ней заметил печать литературы, то, что в журналистике ценится все меньше и меньше. Журналистика отрывается и отрывается от литературы, и наша русская следует в этом отношении примеру западной. Я помню, как француз — приятель, Жюль-Буа, тоже начинающий литератор, сказал мне наставительно в 1894 году в Париже, увидев, что я записался в отеле — «Journaliste»: «Dieu vous garde! Пишите: «Homme des lettres». Журналист — это просто «canaille»; все же, что сколько-нибудь грамотно, — это «литератор». И тон Буа напомнил мне раздражение директора Борденава из «Нана», который возмущался, когда ему говорили «ваш театр». — «Ne dites pas mon théâtre: dites mon bordel».

В. Г. Авсеенко не только дал мне работу и оценил мои задатки, — он руководил мною, а это еще важнее. Он правил мои рукописи. Значение литературной правки — того, что Салтыков так метко выразил в афоризме — «не он хорошо пишет, а мы его хорошо печатаем» — огромно. Правка нужна, конечно, статье, но еще больше автору. Это предметный урок, настоящая школа литературы, воспитание вкуса. Большая убыль литературных сил началась с того времени, когда редакторами газет (а газеты поглощают по преимуществу литературные силы) стали политики, а то просто «люди с чутьем», а не литераторы. Им некогда возиться с рукописями, да и дарование начинающих их занимает мало. В. Г. Авсеенко был одним из немногих редакторов-литераторов. Он газету вел, может быть, не по газетному, т. е. нерыночно, оттого она и не имела рыночного успеха. Но он любил литературу, я и не могу и не хочу забыть его драгоценной заботливости о моих первых шагах. Достоевский в одном из «Дневников» своих желчно обозвал Авсеенко «Коленкоровых манишек беспощадный Ювенал». Это метко. Но вместе с тем, русская литература, питавшая общественность, и *vice versa* возвела эти самые коленкоровые манишки в ранг некоего демократического флага, способного покрыть только потому, что он коленкоровый, всякий груз убожества. Это — то презрение к условности, а значит, к культуре и цивилизации, которое повлекло за собою катастрофическое оголение страны от всего, что было создано столетиями. В синодике грехов русского литературного лицемерия презрение к ювеналам коленкоровых манишек сопрягается и в одну строку должно писаться с апофеозом посконной рубахи, опорок и лаптей. И, может быть, теперь мы научимся больше ценить и уважать таких людей, как В. Г. Авсеенко. Насколько я его знал и в ту пору, как я его знал, В. Г. Авсеенко никак нельзя было отнести к «реакционерам» безоглядного типа. Он очень любил, очень восторгался Тургеневым, и в мирозерцании его было много общего с тургеневским и «потугинским» из «Дыма». Он как-то рассказывал анекдот о том, что в бытность его в киевском университете, студентам было задано сочинение на тему «О пользе Европы». Эта анекдотическая тема, однако,

довольно близко и точно определяла сущность его мирозерцания. Европа представлялась ему образцом для подражания, и если он не был конституционалистом в то время, когда издавал «Санкт-Петербургские Ведомости», то это объясняется тем, что он не усматривал ни в обществе, ни в народе элементов конституционализма, русского tiers état и русской буржуазии. Достоевский высмеивает какую-то рецензию Авсеенко о французском Михайловском театре, в которой встречалось такое выражение — «теплый буржуазный жанр». Но душе Авсеенко был, действительно, и понятен, и близок этот жанр, рисующий устойчивую, морально крайне дисциплинированную жизнь. Это было ему настолько близко и попятно, насколько чуждо и далеко было нигилистическое, анархическое отрицание, в чем, собственно и заключалось наше литературное «передовое», да и не только передовое направление. И точно, мы еще не научились лепетать в смысле накопления моральных и социальных ценностей, но отрицания за то были полные пригоршни. Все хорошо, когда идет согласно закону сложения и разложения сил, и сила сопротивления учитывается, как и сила давления. Но русская литература занималась лишь созданием «контрфорсов» и нисколько не задумывалась над созданием того, что должно было испытать силу разрушительных ударов.

Я стал писать в «Санкт-Петербургские Ведомости» усердно. Второй статейкой пустил тоже об юридическом обществе «Дуэль по поводу Дуэли». Не помню уж как, попробовал фельетон под псевдонимом «Наблюдатель»; затем напечатал целый ряд статей по экономическим и юридическим вопросам, особенно, по поводу проекта нового уголовного уложения. По истечении нескольких месяцев я получил предложение писать ежедневно маленький фельетон, для чего и являлся аккуратно в редакцию. И таким образом я стал профессиональным газетным сотрудником. Я работал много и упорно. Указания и изменения редакторского карандаша подвергал я обстоятельному анализу. Я добивался и фельетонах своих формы с необычайной для моего «легкого» характера настойчивостью. Случалось, что фельетон в 150 строк я писал два — три дня, перемарывая

и переписывая по несколько раз и приходя в отчаяние от несовершенства своей техники и от неумения найти законченность и яркость слова. В то же время я выполнял всяческие поручения редакции — бывал в суде, в заседаниях обществ, даже на юбилее училища Правоведения присутствовал, стоя в трех шагах от Александра III и Марии Федоровны. Воображаю, какую комическую фигуру представлял я в чужом фраке, сидевшем на мне, как на вешалке! Эти «выезды в свет», в качестве репортера, сослужили мне большую службу, расширив сферу моего наблюдения, сообщив много живых сведений и сведя лицом к лицу с разными деятелями того времени.

Редакцию «Санкт-Петербургских Ведомостей» составляли в то время М. М. Коялович, П. Ф. Левдик, А. А. Коган, М. Г. Вильде, Д. П. Сапиенца и В. А. Лебедев. Среди сотрудников были; упомянутый уже В. К. Петерсен-Ладожский, И. К. Морской, П. П. Гнедич, И. К. Галлер, музыкальный критик, проф. Н. А. Любимов, А. Н. Энгельгардт (жена известного Энгельгардта) и др. Редакция и контора занимали небольшое помещение. Из комнаты, являвшейся конторой, вели две двери в кабинет В. Г. Авсеенко и в сотрудницкую. Другая «сотрудницкая» комната, где сидел и я, сообщалась прямо с кабинетом Авсеенко. В этой комнате кроме меня восседали А. А. Коган, В. А. Лебедев, а позже — М. М. Коялович. Коган был красивый мужчина с пушистой бородой; хотя с явно еврейской фамилией, но ярый антисемит. Он был сотрудником «Московских Ведомостей» и очень гордился знакомством с Катковым. Если память мне не изменяет, он писал в «Московских Ведомостях» под псевдонимом «Неизвестный». У нас он вел, вперемежку с Левдиком, иностранный отдел, а одно время, кажется, и печать. Он почему-то постоянно хмурился и утверждал, что какие-то не то обманутые мужья, не то политические противники покушаются на его жизнь. До сотрудничества в «Санкт-Петербургских Ведомостях» он долго жил за границей, бранил нашу русскую жизнь и все рвался обратно в иностранные земли. Человек, в общем, был мало общительный и неособенно приятный, хотя образованный и порою интересный рассказчик, если только неособенно завирался.

В. А. Лебедев, заведывавший отделом спорта, справочником и мелкой хроникой, являлся прямой ему противоположностью. Он был из «простых», чуть ли не из наборщиков или корректоров, и состоял также «выпускающим номера». «Посмотрите на него», — говаривал В. Г. Авсеенко, — «он ходит на каблуках, как наборщик, а если, праздник, так не может не выпить». Василий Ананиевич был костромич и говорил «предлѳжить» вместо «предложѳть», был очень добродушен и не лишен писательской настоящей жилки. Он умер сравнительно молодым и не успел еще расписаться, но были у него и рассказы, и статейки совсем недурные — правда, без особенных умственных, но правдиво и тепло написанные. Любил закусить, выпить и повинтить, причем когда ремизился и партнер бранился, то только шире раскрывал синие глаза и при каждой штрафной взятке почему-то с сознанием оскорбленного достоинства приговаривал: «видите?»

Михаил Миайлович Коялович, сын профессора духовной академии, довольно известного в свое время Михаила Осиповича Кояловича, был большим моим приятелем и таковым остался до самой своей смерти. Он был старше меня года на два, не больше, и когда я начал сотрудничать в «Санкт-Петербургских Ведомостях», он, кажется, еще состоял студентом, но уже твердо решил пренебречь дипломом, тем более, что был влюблен и собирался жениться. Получал он, по тому времени, большие деньги, что-то 400–450 руб. в месяц. И надо правду сказать, как прекрасный работник — настоящий газетный «антука», — он этого стоил.

У него был публицистический нерв, сарказм, известный, хотя и не очень стойкий, но так называемый «русский» национальный политический взгляд. Он много читал, много знал и отличался блестящей памятью. При этом он обладал для газетного дела самой драгоценной чертой — внутренним тактом. Я с ним работал много лет спустя в «Руси» А. А. Суворина, в революционные годы 1904–1906 г.г., и еще буду иметь случай о нем говорить. В то время, про которое я пишу, он еще был, разумеется, молод, зелен, но задатки блестящего публициста были налицо. Он правил хронику и другие мелкие статейки, писал

передовицы и был правой рукой В. Г. Авсеенко. Трудно себе представить более забавно-уродливую наружность, чем у Мих, Мих. Кояловича: маленький пуговкою нос с небольшою бородавкой набалдашником, маленькие, почти что свиньи, хотя умные глаза, непропорционально маленькая голова на длинном нескладном туловище и при этом тонкий писклявый голос; к тому же в придачу заметная глухота, с годами все больше возростающая. Женился он на редкой красавице, в полном смысле слова, так что я ахнул, когда он меня познакомил с невестой; вообще, по этой части он был «сих дел мастер», и после этого говорите, что «уметь любить» не значит все!..

Михаила Густавовича Вильде я уже застал зело старым. Он копошился вокруг иностранных газет и был, что называется, старый театрал. По равнодушию своему тогдашнему к театру, я этой его особенности не ценил как следует. Ходил он сгорбившись, в неизменном черном сюртуке, в заднем кармане которого находились бутылочка из-под сельтерской воды с молоком и булочка. Это был его завтрак или ланч, или то и другое вместе. Авсеенко говорил про него, что у него от старости прекратились уже все физиологические процессы. Седые волосы его, довольно редкие, уже пожелтели. Оживлялся он только, когда заговаривали о театре. В то время воссияла звезда Е. Н. Горевой, которой страстным поклонником он числился. Откуда следует, что к разряду тонких ценителей он едва ли принадлежал. Но мне он мог говорить что угодно — я не видел ее, да и смотреть не собирался.

Дмитрий Петрович Сапиенца, собственно, попал в журналистику случайно, — кажется из чиновников министерства внутренних дел, прикомандированных к «Правовым Вестям». Мужчина большого роста, он отличался злобною иронией и про всех говорил дурно. Сапиенца переводил иностранные известия, затем делал передышку, ходил по комнате, разминая геморроидальную поясницу, и костил всех направо и налево. Затем садился и повторял это последовательное чередование до конца занятий. Иногда станет у окна и смотрит на улицу. «Что смотрите?» — «Да вот, смотрю, что упряжь у А. А. Матова (полковника Семеновского

полка, управлявшего конторой) все улучшается, а гонорар все уменьшается».

О П. Ф. Левдике я буду иметь случай говорить впоследствии. Он и недолго пробыл в редакции, увлекаемый более родственными ему по духу бульварными газетами. Сейчас мне эти первые годы представляются восхитительными. Я зарабатывал до 150–175 руб. в месяц, компания подобралась приятная, жили дружно, по-товарищески. Занятия в редакции начинались около 1–2 ч. и заканчивались в 4. В. Г. Авсеенко любил аккуратность и точность; в четыре он брал трость, желтые перчатки и отправлялся гулять перед обедом, и тут надо было кончать, хоть на полуслове оборвать. В виду этого у сотрудников выработалась манера — писать, держа перед собою на столе раскрытые часы. Эту привычку и я усвоил и долгое время не мог от нее отвыкнуть. О будущем как-то задумывались мало. Когда живется ярко, чего там заглядывать в будущее! Было здоровье, была молодость, была еще не притупившаяся острота впечатлений; И аппетит!.. Я иногда вспоминаю теперь, какие порции уписывались, случалось, на ужинах, в бывшем приказчиьем клубе (что на Владимирской ул.), куда меня научили ходить Коган и Левдик, постоянные посетители сего учреждения! За 60 коп. давался антрекот величиною с тарелку, да еще тарелка жареного с луком картофеля!

Я сейчас стараюсь вспомнить, какие же меня, собственно, волновали в то время общественные и политические вопросы? Я писал передовые статьи обо всем, *de rebus omnibus et aliis quibusdam*, даже об иностранной политике, и фельетончики тоже обо всем — о музыкальных вечерах «могучей кучки», о балалаечниках В. В. Андреева, о Стамбулове и его палочной политике, о дачах, о Боборыкине, о романе Золя. Среди бумаг у меня сохранилось несколько наклеек со старыми статьями и фельетонами из «Санкт-Петербургских Ведомостей». Фельетончики были, как мне на нынешний взгляд кажется, суховаты, а передовые статьи, как это ни странно, несмотря на мою крайнюю молодость, были совсем настоящие. Стиль еще не выработался, а только вырабатывался, но взгляды, — сужу по просмотру — были здравые и ясные. В общем, что же требуется от газетной передовицы? Я был

баловнем В. Г. Авсеенко. И из того обстоятельства, что этот, в сущности, сдержанный и суховатый человек относился ко мне с нескрываемою симпатией, я ясно вижу, как глубоко верна и правдива психология известного водевиля Лабиша «Le voyage de M. Perrichon», герой которого возненавидел того, кто спас ему жизнь, и воспылал нежностью к тому, кого якобы он сам спасает.

Несомненно, во всяком случае, одно: судя по тем статьям, которые сохранились в моем архиве, решительно нельзя найти в «Санкт-Петербургских Ведомостей» того времени признаков реакционерства. Это было скорее умеренно — либеральное направление, стоявшее во многом на основе «эпохи великих реформ», как принято было тогда выражаться, — хотя с известными оговорками. Если принять в соображение, что то было время самой свирепой реакции Д. А. Толстого и Победоносцева, и что «Санкт-Петербургские Ведомости» рассматривались, как издание, обеспеченное «обязательными объявлениями», то следует признать, что В. Г. Авсеенко довольно искусно лавировал между Сциллой и Харибдой. По крайней мере, что до меня, то я не чувствовал в области юридических и экономических вопросов, которых, главным образом, касался, давления на свои взгляды и убеждения. Насколько я припоминаю это отдаленное время, Авсеенко давалось не легко его отщепление, хотя бы умеренное, от Катковского толка. Раза два в неделю в редакцию являлся Н. А. Любимов, известный сподвижник Каткова, и они долго с Авсеенко ходили взад и вперед по кабинету. У нас это называлось — «гувернер пришел». Н. А. Любимов к тому времени, когда я стал постоянным сотрудником газеты, уже перестал в ней печатать свои статьи. И так как в деле предоставления Авсеенко аренды «Санкт-Петербургских Ведомостей» Любимов сыграл немалую, если не главную роль, то было понятно его стремление удержать Авсеенко на стезе строгой катковщины. Однако, удавалось это «гувернеру» мало. Н. А. Любимов считался в катковском лагере одной из самых выдающихся сил. Немногие, быть может, знают, что цикл статей Н. А. Любимова «Против течения», напечатанный в «Русских Вестях» и содержавший исторический анализ событий великой

французской революции, был, между прочим, написан специально для того, чтобы доказать Александру III (хотя едва ли нужно было так усиленно доказывать ему то, чего он так страстно хотел), что Людовика XVI погубила уступчивость, и что, остановленная вначале, французская революция не имела бы дальнейшего течения. Этот взгляд считался господствующим в придворных сферах, и уже после смерти Александра III передавали следующие слова, будто бы на смертном одре сказанные им Николаю: «Не уступай ничего, потому что, если дать палец, то они захватят всю руку». Собственно, этот афоризм и представлял главную мысль исследования Н. А. Любимова. Бывая в редакции, — всегда гладко выбритый, всегда в неизменном черном сюртуке, — он заходил в сотрудницкую и беседовал с нами. Ему, помню, нравились мои фельетончики, и в особенности те, в которых я «разделявал» музыку «могучей кучки». Он, кажется, был хорошо знаком с Балакиревым и другими представителями этой музыкальной группы.

IV. ПЕРВЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЕЦЕНЗИИ. «МИНУТА» ДОБРОДЕЕВА

А этом же первого года своего сотрудничества в «Санкт-Петербургских Ведомостях» я внезапно стал рецензентом. Можно ли отрицать значение случая в жизни? Оглядываясь на себя, я должен сказать, что, конечно, не в смысле общих контуров моей жизни, а в смысле частных, и весьма существенных, ее линий, очень многое и важное — определялось случаем. Так было и здесь — с театральным рецензентством, ставшим впоследствии главной основой моей литературной работы. Случай! И далее — потом тоже ряд случаев!

Театральные рецензии писали в «Санкт-Петербургских Ведомостях» П. П. Гнедич, М. Г. Вильде, Галлер и, кроме того, Н. М. Безобразов, известный балетоман, камер-юнкер, — личность довольно любопытная, о которой мне придется еще говорить. Я не знаю, почему, но Н. М. Безобразов прекратил свое рецензентство, а кто-то другой, который должен был писать, тоже оказался в «не тех». Помню, я заканчивал какую-то статью самого прозаического свойства, вроде реформы мирового суда, когда меня позвал В. Г. Авсеенко. «Не поедете ли вы сегодня в "Ливадию"? Надо написать рецензию». Я, вытирая замазанные чернилами пальцы, сделал большие глаза. «Как же я? Да и как туда пройти?»... Я задавал самые глупые вопросы, свидетельствовавшие о том, как, в сущности, я был далек от театра и от мысли, что я буду писать театральные рецензии. «Вы там встретите Николая Михайловича (Безобразова) — он вам все объяснит», — сказал Авсеенко, и вручил мне редакционный билет. Я принял его, как некую священную утварь. Завернул даже, кажется, в бумажку. Мысль о том, что я поеду в театр, чтобы писать рецензию, волновала меня и пугала. Я уже имел случай заметить, что в театре, вообще, бывал очень редко, а в оперетке был всего раза два — на знаменитой Зориной, певшей «Чертенка» с Давыдовым. Что же касается балета, который тогда давали со знаменитой